



Евгений Соловьев
Оливер Кромвель. Его жизнь
и политическая деятельность
Серия «Жизнь замечательных людей»

предоставлено правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175655

Аннотация

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Содержание

Введение	6
Глава I. Первые сорок лет	11
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Е. А. Соловьев
Оливер Кромвель
Его жизнь и политическая деятельность
Биографический очерк
С портретом Кромвеля,
гравированным в Лейпциге Геданом



Введение

“Ближайшее потомство клеймило Кромвеля как нравственное чудовище, а в позднейшее время его прославляли как величайшего из людей”.

Так говорит Ранке. Выражаясь точнее, можно сказать: XVII век ненавидел и презирал Кромвеля, XVIII не понимал его и только XIX воздал ему должное. Иначе не могло и быть. Историки и люди XVII века отнеслись к Кромвелю как люди партии. Они охотно верили всяким небылицам, которые только рассказывались про него; они готовы были даже клеветать, чтобы как-нибудь очернить память этого страшного и непонятного для них человека, чьему слову еще так недавно вольно или невольно подчинялась вся Англия. Они упрекали Кромвеля в распутной юности, грязных болезнях, ханжестве и лицемерии. Они называли его сыном дьявола, узурпатором и цареубийцей. Они не хотели признать в нем даже гения и с удовольствием распространялись о его поразительных способностях к интриге. И не только роялисты, защитники трона и династии Стюартов, поступали так – на Кромвеля восстали и те, которые долго были его друзьями, то есть искренние республиканцы. И они осудили его, и для них он был ханжой и лицемером. Не зная границ своему раздражению, враги Кромвеля дошли до последнего безобразия и жестоко надругались над его трупом, разрыв могилу, а историки XVII века, подчиняясь взглядам и страстям партий, нагромодили на его память такую массу клевет, что, поверивши одной сотой из них, следовало бы искренне пожелать Кромвелю жесточайшего адского огня во веки веков. Для XVIII века первая английская революция (1641 – 1661 годы) и ее герой были непонятны. XVIII век верил в разум, почитал разум, преклонялся только перед ним. Он третировал религиозные интересы, которые были так дороги людям за столетие перед тем. Он смеялся над словом *святость* и везде, где только мог или думал что мог, вместо смиренного “верую” ставил свое гордое “знаю”. Он презирал фанатизм и фанатиков, вышучивал молитву и в лице многих и многих своих философов-моралистов склонялся к мысли, что человек не может руководствоваться в жизни ничем другим, как рассудком и эгоизмом. Очевидно, что Кромвель и его “святые” индипенденты¹ не подходили под модное требование. Они были фанатиками, они верили не только в Провидение, а еще и в то, что Провидение избрало именно их для исполнения своих предначертаний. Они никогда не кичились рассудком, а охотно подчиняли его высшей с их точки зрения силе – силе экстаза, интуиции, священного вдохновения. Не такие люди могли являться героями в глазах философов и историков XVIII века. Ему нужны были Ньютоны, Галилеи и Коперники; он восторгался формулой тяготения и иронически, а иногда и с раздражением говорил о религиозных движениях, считая их результатом происков ненавистного ему духовенства. Зато XIX век оказался на высоте своей задачи. Только в этом столетии история действительно стала наукой и добилась поразительных успехов. Строгая критика фактов и веротерпимость (в полном и лучшем смысле этого слова) – вот основа новых исторических исследований. Стремление во что бы то ни стало отделаться от легенд и басен, от всякой лжи, внешней и внутренней, как бы ни льстила она национальному самолюбию или поддерживала тот или другой партийный интерес, и создает науку. А это стремление существует, и история в XIX веке может гордиться им наряду с любой из отраслей человеческого знания. Поэтому-то так много развенчанных героев, оказавшихся совсем не героями, а еще больше деятелей, которым воздано по делам их, несмотря на мусор, наваленный на их память клеветой и партийностью.

¹ радикальная религиозно-политическая группировка пуритан в период Английской буржуазной революции XVII века; индипенденты явились сторонниками полной автономии церковных общин, выступали против монархии

Девятнадцатое столетие – за Кромвеля. Некогда “чудовище нравственности” и сын Вельзевула, он нашел себе такого спокойного и справедливого судью, как Ранке, такого восторженного и страстного адвоката, как Карлейль, таких красноречивых и даровитых защитников, как Маколей, Гизо и пр. Нет ни одного мало-мальски выдающегося историка, который сомневался бы в его величии. А раз величие признано, то что еще остается признать, по крайней мере, в данном случае? Ведь Кромвель не мыслитель-теоретик, не специалист науки, не поэт или художник, это прежде всего практический деятель, “born king of men”², как называет его Карлейль. Говоря о его величии, можно иметь в виду лишь величие человека, взятого во всем его целом, и общественного деятеля. Так и толкуется величие Кромвеля, так и понимается оно. Глупые басни о его беспутной юности никого теперь не интересуют. Гизо верит им, но упоминает о них в двух строках; Карлейль не верит им и опровергает тоже в двух строках. Так же поступает и Паули. Если бы даже было доказано, что двадцатилетний Оливер Кромвель слишком много пил виски, целые ночи напролет проводил за костями, нарушал сон мирных граждан, распевая беспутные песни, то его образ нисколько бы не потускнел в наших глазах. Нельзя же на самом деле соваться всюду с аршином буржуазной добродетели и плакаться о грехах двадцатилетнего юноши, который стал впоследствии героем целой исторической эпохи.

Лучше, однако, пренебрегая частностями, сразу сговориться с читателем насчет термина “величие”.

Термин этот старый, общеизвестный и общеупотребительный. Это не мешает ему быть достаточно неопределенным. Но вот, если не ошибаюсь, пункты, по поводу которых все должны быть согласны. Эти-то пункты и составляют элементы величия, как оно понимается большинством.

Во-первых, величие немыслимо без влияния. Эти две величины прямо пропорциональны друг другу; чем больше одно, тем и другое больше, и наоборот: при незначительном влиянии человека на жизнь говорить о его величии будет совсем напрасно. Это простая сентиментальность, которая по всей вероятности украшает людей. Но жизнь ее не знает. Если угодно, жизнь в этом случае даже жестока и определяет размер величия математически правильно. Она прямо говорит: “Велико лишь то, что выживает”, – и в этом случае смешивает величие с силой. Гомер был великий художник. Это очевидно. Сто поколений наслаждались уже его творческой фантазией; сто, а вероятно и тысяча грядущих поколений еще будут наслаждаться ею. Недаром его поэмы называют бессмертными, все равно как бессмертными можно назвать диалоги Платона, драмы Софокла и Шекспира. Это бессмертие есть высшая степень выживаемости, высшее выявление той внутренней силы, которая позволяет продукту человеческого творчества оставаться многозначительным, несмотря на крушение царств, цивилизаций и даже угасание звезд. Маленькое дело – мыльный пузырь; он рождается, блеснет на солнце, вызовет восторги детей младшего возраста и лопнет тихо и незаметно среди миллиардов подобных ему. Только великое остается, только оно “строит” жизнь. Ведь в мысли гения и в делах его скрыта поистине чудодейственная, вечно юная сила. Она не ржавеет и не старится. Каждое новое поколение подходит к ней с новыми требованиями, новой точкой зрения, более глубоким анализом и находит в ней новое содержание, новую мощь и красоту. Она неиссякаема и светит так же величаво, так же жизнерадостно, хотя бы сотни лет прошли уже со дня ее появления.

Итак, сила *влияния* на жизнь, сила выживаемости есть первый необходимый признак великого.

Во-вторых, великое способно к дальнейшему синтезу, к дальнейшему развитию. Малое потому и мало, что оно ставит на своем развитии точку немедленно после появления

² прирожденный вождь людей (англ.)

на свет Божий. Оно не “угадало” жизни, ее действительных, насущных потребностей; оно не в состоянии приспособиться ни к каким условиям места и времени, тем более создать для себя нужные условия, и роковым образом обречено или на эфемерный блеск, или на чахоточное умирание. Но ведь, чтобы выживать, надо развиваться. Это своего рода фатум, представляющийся величайшим счастьем для одних, величайшим несчастьем для других, даже проклятием, как например для Руссо. Но дело не в счастье и не в несчастье, дело в необходимости, которой стоит только заговорить, чтобы умолкло все остальное. А “необходимость” жизни постоянно требует нового приспособления, новых форм, движения вперед, к высшим в сравнении с предшествующими образцами. Возьмете ли вы идею любой науки, или идею нравственности, или человеческое учреждение – безразлично, вы увидите, что их жизнь заключается в том, что они становятся шире, отвлеченнее, охватывают больший круг предметов, явлений и понятий, завоевывают себе большие права и большую власть. Они борются и побеждают, и растут от своих побед. Но мы сказали, что великое выживает, а чтобы выживать, надо обладать способностью к дальнейшему синтезу и развитию. Егго: великое обладает ею.

В-третьих, великое практично. Не без страха употребляю я это слово, так как знаю, что многие недолюбливают его. Есть даже формула: “непрактично, зато гениально”. Совсем неумная формула: гениальное, великое всегда практично. Сейчас объясню, как я это понимаю.

История очень внушительно и неопровержимо говорит нам, что в жизни человечества столько же борьбы за настоящие, то есть действительные потребности бытия, сколько и погони за иллюзиями. Этих последних – увы! – слишком даже много, как в существовании отдельных людей, так и целых обществ, целых народов. И поэтому как глубоко прав был Сократ, когда десятки и сотни раз повторял свой излюбленный принцип: “Познай самого себя, свои силы и способности и определи, к какому делу ты наиболее пригоден”. Да, правда, везде и повсюду слишком много иллюзий. Точно разноцветные райские птицы летают они мимо наших глаз, привлекая к себе блестящими красками; точно призраки наполняют они бытие, и человек спешит за ними, улавливая неуловимые тени, то спотыкаясь, то падая в пропасть во время страстной погони за чаровницей-иллюзией. Ее власть громадна. Возьмите искусство, литературу, жизнь. Отовсюду, то самодовольные и окрыленные успехом, то бледные, измученные неудачами, загнанные нуждой, смотрят на вас лица охотников за иллюзией. Они не видят жизни, не хотят видеть ее. Они видят, знают, преследуют мечту своего воображения, свою *idée fixe*. Тот мнит себя дипломатом, тот – человеком войны; тот ставит себя рядом с Фемистоклом, тот – с Александром Македонским. У другого не меньший зуд писать историю. Но он затемняет – увы! – не уясняет ее... За томом том, страница за страницей – и летит жизнь, пока смерть не скажет наконец своего властного “довольно!”, и воспаленное воображение не остынет в ледяном холоде могилы...

А разве народы не знают иллюзий, разве не свойственно каждому из них провозглашать себя величайшим и ценнейшим сосудом всяких доблестей?.. Возьмите потом целые исторические эпохи, стремление Карла V восстановить средневековую империю, стремление папства быть в XVI веке тем же, чем оно было в XII, европейских королей – основать европейскую монархию и так далее, и вы увидите, как много сил, и недюжинных сил, потрачено на то, чтобы зачерпнуть ковшом отражение месяца на воде.

Великая мысль – не иллюзия. Рано или поздно она осуществима. В этом смысле я и называю ее практичной, то есть способной жить.

В-четвертых, великое играет в жизни роль начала объединяющего. Эта мысль настолько проста и элементарна, что я лишь слегка остановлюсь на ней. Если не ошибаюсь, один из греческих мудрецов сказал: “Все то, что объединяет людей, – то благо”, и в этом смысле великое может быть названо благим. Психологические основания этой формулы

очевидны, когда мы переходим к конкретному случаю влияния *героя* на толпу. Надо только заметить, что в данном случае я употребляю термин “герой” не в научном, а в карлейлевском смысле слова. Для Карлейля герой – прежде всего сила нравственная, для современной науки – сила инициаторская вообще, в нравственном смысле безразличная. Поэтому-то связующим звеном между толпой и героем не может быть простое подражание, а нечто высшее, нечто более сложное и моральное. Герой науки вызывает людей к поступкам вообще, герой Карлейля – только к благородным поступкам. Словом, сущность героизма и инициаторства является у Карлейля осложненной, более узкой и односторонней, но высшей по типу. С его героем по необходимости связано представление о “высоком” в нравственном отношении.

Каким же образом это “высокое” исполняет объединяющую роль? Обыденная жизнь обыденного маленького человека дает нам ответ на этот вопрос. В каждом из нас живет любовь к правде, но далеко не каждый чувствует это. У нас есть в глубине души стремление к справедливости, но оно затерялось среди сорных трав, оно придавлено и даже подавлено нашим алчным себялюбивым “я”. Мы зачастую, чуть ли не каждый день, чувствуем себя рабами собственных страстей и похотей, но не знаем, как бороться с ними: в конце концов побеждают они. И невольная грусть, невольное томление или же – совсем наоборот – скотское самодовольство овладевают человеком, когда перестает бить в нем родник Вечной правды, занесенный илом и грязью. Увы! – кому из нас не приходится ежеминутно убеждаться в собственном бессилии? Это обидное бессилие. Наша жажда правды и справедливости точно птица с простреленным крылом робко прячется в тени густого кустарника и пугливо озирается по сторонам, ежеминутно вздрагивая и возбуждая невольное сострадание. Очевидно, что не этой жажде справедливости и добра приходится играть первенствующую роль. Как раз наоборот: на сцене жизни воюет, кипит, приходит в отчаяние, переживает себялюбивые восторги маленькое, ненаполненное, эгоистическое “я”. Но стоит только человеку свести свои заботы и свою деятельность к его убогости, как он по необходимости окажется в тайной или явной вражде со всеми своими ближними. Единство жизни может, конечно, поддерживаться, но механически. Традиции, привычка, личные симпатии, принудительная сила государства, соображения собственной выгоды – вот обыкновенные факторы единения, причем принудительные играют первенствующую роль. Однако история представляет нам и другие примеры, другие зрелища. Мы часто видим, как человек свободно, хотя и произвольно, то есть без всякого внешнего принуждения, свое себялюбивое “я” подчиняет или даже приносит в жертву высшему началу – любви к Богу, стремлению к справедливости. И – удивительное дело – в таком случае он немедленно оказывается не во вражде уже, а в плотной, неразрывной связи со многими и многими из себе подобных. Появление героя, то есть человека, в котором *конкретно* воплотилось высшее начало, облегчает этот процесс. Человек слаб, бессилен; родник Вечной правды, находящийся в душе его, занесен илом и грязью. Мощное слово героя, непосредственная сила очарования, с какою он влияет на каждого, открывают этот родник, и он опять начинает бить, но не с прежней, а неизмеримо большей силой. Простой смертный под сенью героя чувствует, как поднялся он сам в глазах своих, как исчезли его робость и напряженное, болезненное животолубие³. Правда, лично от своего “я” он отказался. Герой как нечто грандиозное очаровал и подавил его. Но что в данном, по крайней мере, случае означает отречение от своего “я”? Говоря картинно: слияние ручья с морем, своей воли – с высшей, своих неясных стремлений – со стремлениями ясными и определенными, смутного предчувствия о правде – с полным сознанием ее. В этом рабстве – высшая свобода, так как оно не унижает, не гнетет, а выводит на ту высоту нравственной жизни, до которой не может добраться лично сам отдельный, маленький человек. И тут только он убеждается, что истинное единение между людьми возможно

³ привязанность к здешней, земной жизни (Словарь В. Даля)

лишь при подчинении своего “я” высшему началу. Возле героя образуется толпа, не в смысле количественной массы, а одухотворенного, живого и плотного целого.

Таковы элементы величия.

Но мы видели, что величие признано за Кромвелем таким подавляющим большинством голосов, что было бы бесполезно оспаривать его. Значит, в деятельности лорда-протектора Соединенных королевств мы должны найти и выживаемость, и способность к дальнейшему развитию, и практичность, и талант объединять людей. В нем, как в личности героической, мы увидим непосредственную силу проникновения и очарования.

Ясно, о чем должна говорить нам его биография.

Глава I. Первые сорок лет

Род и семья Кромвеля. – Детство и юношество. – Религиозные сомнения. – Отношение к кальвинизму и пуританизму. – Скромный сельский джентльмен. – Участие в общественных и государственных делах

Род Кромвеля не имеет никакого отношения к лордам того же имени, которые в XIV и XV столетиях были сделаны пэрами. Но зато доказано его родство с сильным министром Генриха VIII, Томасом Кромвелем, графом Эссекским, “молотом монахов” (*malleus monachorum*), беспощадно гнавшим святых отцов, разрушавшим их монастыри и безжалостно распродавшим с молотка почти все их земли. Племянник Томаса, сэра Ричард Вилльямс, валлиец и земляк Тюдоров, *swift riding man*, как называет его Карлейль, то есть “быстро разъезжающий человек”, успел во время могущества своего знатного родственника и во время своих быстрых разъездов от монастыря к монастырю захватить несколько хороших имений и обогатиться. Падение старшего Кромвеля не коснулось младшего. Младший уцелел, хотя его благодетель сэра Томас и должен был сложить свою голову на плахе. Пришлось только расстаться с быстрыми разъездами и поселиться на покое в благоприобретенных имениях, имея залогом безопасности собственную ничтожность. Это, впрочем, и не было особенно скучно. Монастырские имения, хотя и несправедливо отнятые, давали великолепный доход, занятия хозяйством требовали много времени, охота и пиры доставляли достаточно развлечений неизбалованному городской жизнью сельскому дворянину. Смуты и тревоги, нарушавшие покой высшей аристократии или лондонских граждан, не тревожили сэра Вилльямса; он преспокойно гонял зайцев во время казни Анны Болейн и умер, оставив прекрасно устроенное имение своему сыну сэру Генри. Сэр Генри, прозванный “золотым рыцарем”, вел роскошную жизнь; его игры славились на сто миль в окружности; он был весел, добродушен, гостеприимен и ни в ком никогда не возбуждал недоумения. Недоумение появилось лишь после его смерти, когда надо было упомянуть на могильной плите о его делах и заслугах. Сына сэра Генри звали Оливером. “У него было много детей, и он вел роскошный образ жизни”, но Бог с ним! Брат его Роберт для нас интереснее, и то лишь потому, что сыном его был другой Оливер, родившийся 25 апреля 1599 года на десятом году счастливой супружеской жизни сэра Роберта с Елизаветой Стюарт, маленькой, тщедушной женщиной, горделиво говорившей о своем родстве с шотландским королевским домом Стюартов.

Из этого видно, что Кромвель был прав, когда в своей речи, обращенной к парламенту в 1654 году, сказал, между прочим: “По рождению я был джентльмен, и если семья моя не пользовалась особенной известностью, то не оставалась и в темной неизвестности”. Темной неизвестности действительно не было. Напротив даже. От современных хроникеров мы узнаем, что в апреле 1603 года король Иаков I, проезжая с севера, остановился на два дня у дяди Кромвеля и пожаловал его орденом. Скольких хлопот и расходов обошлось дяде Оливеру королевское посещение, определить нельзя; известно лишь, что после этого материальное положение его сильно пошатнулось, зато он очень вырос в своих собственных глазах и “заметно стал говорить гораздо меньше”. Что же касается до маленького Кромвеля, то о впечатлении, произведенном на него королевским визитом, мы уж совсем не знаем. Услужливые историки уверяют, впрочем, нас, что в один прекрасный день королевская обезьяна схватила будущего лорда-протектора и унесла его на вершину дерева, но, *к сожалению*, не сбросила оттуда, что в другой, не менее прекрасный день маленький Оливер подрался с маленьким Карлом, сыном Иакова, и по своей неотесанности разбил до крови нос сопернику. В тех же хрониках можно прочесть интересный рассказ о том, что какая-то исполинская фигура являлась над колыбелью Кромвеля и, протягивая над ним руки, предсказывала ему, что он будет королем.

Образование Кромвель получил по тем временам вполне приличное. Сначала родители отдали его в школу к пуританскому проповеднику в Гунтиндоне, где он научился грамоте и хорошо ознакомился со Священным писанием. Потом уже он сам отправился в университет, и в тот самый день, в который умер Шекспир (23 апреля 1616 года), его имя появилось в матрикулах Сидней-Суссекской коллегии, куда поступали дети знатных фамилий графства. В 1617 году умер его отец, и Кромвелю пришлось оставить коллегия и отправиться к себе домой, чтобы помогать матери и сестрам по хозяйству. Восемнадцать лет он оказался, таким образом, во главе дома, что не помешало ему почувствовать, как недостаточно его образование. Желая его пополнить, он отправился в Лондон и несколько месяцев подряд занимался в конторе адвоката, нисколько, впрочем, не мечтая о карьере законника. Пребывание Кромвеля в Лондоне, первое по счету, встает перед нами изукрашенное всевозможными фантастическими рассказами, в которых Кромвель фигурирует как кутила, игрок и распутный молодой человек вообще. Гизо этим рассказам верит; Карлейль с презрением упоминает о них. Как бы то ни было, в августе 1620 года мы застаем Кромвеля женатым на дочери дворянина, Елизавете Бургер, благочестивой молодой мисс, преданной пуританству. Женившись, Кромвель окончательно поселился в имении. Мы можем лишь догадываться, что он делал там, как распоряжался по хозяйству, как принимал участие в делах прихода, общины, графства, как учил своих детей молиться, как страдал и мучился, обуреваемый религиозными сомнениями. Подробности об этом навсегда останутся тайной; несомненно лишь то, что по примеру своего отца, отнюдь не дяди, Кромвель жил очень скромно. Едва ли он задавал пиры, едва ли охотился. Интерес его жизни сосредоточился совсем в другой области; какой – сейчас увидим.

Я не знаю ничего более поучительного, как муки гениального человека, настойчиво ищущего правды. Эти муки должны бы сделаться достоянием истории. Мы знаем, что происходило с Лютером в его юные годы, когда, одинокий в своей маленькой келье, он задумывался над вопросом о спасении своей души. К сожалению, мы слишком мало знаем о том, что происходило с Кромвелем. Но он страдал, возбуждая сильное беспокойство в собственной семье своей меланхолией, мрачным видом и припадками невыносимого душевного отчаяния. Это были молчаливые муки, слишком, однако, сильные, чтобы хотя смутный отзвук их не дошел до нас, несмотря на два с половиной протекших столетия.

Кромвель задумался над тем же, над чем задумывались все выдающиеся люди его времени, все выдающиеся люди всех времен и народов. Один, затерянный в беспредельном пространстве бытия, стоя на уделенном ему от природы и общества клочке земли, со своими мускулами, бессильными и ничтожными в сравнении с могучими стихиями природы, со своим разумом, только скольльзящим по голубому небесному своду, но не проникающим за него, – человек с тоской спрашивает себя, как же связать свою личную жизнь с жизнью мироздания, как оправдать свои личные радости, скорби, крохотную, но бесконечно важную для него жизнь и бесконечно страшную смерть? Есть великая тайна жизни, есть тревожные вопросы бытия, и, отдавшись им, не получая на них ниоткуда никакого ответа, Кромвель не находил ни смысла, ни цели в окружающей его обстановке и в собственных своих занятиях. В продолжение целых лет он жил изо дня в день, не будучи, быть может, в состоянии отдать себе отчета в тоске, теснившей его грудь. Он сознавал лишь одно глубокое недовольство и томление, заставлявшее его опускать руки при одной мысли о каком бы то ни было деле. И он исполнял его механически, относясь к нему или как отец семейства, которому во что бы то ни стало надо заботиться о материальном достатке, или просто по привычке, не понимая, с чем *высшим* в жизни связано его дело, и мучаясь при мысли, что прекрасно можно обойтись и без него. Загадка жизни – “вечно тревожный и страшный вопрос” – не давала покоя великому человеку. Это загадка для каждого, но большинство живет, почти не замечая ее. Кромвель же искал ответа, быть может бессознательно даже искал, напрягая все свои могу-

чие силы и гордо отказываясь найти успокоение в общепринятых формулах, с которыми так легко живет обыкновенному смертному.

“Не завидуй великому человеку, – говорит Карлейль, – его величие в страдании”. Отчасти это правда, конечно, и привилегия гения оплачивается обыкновенно слишком дорого. У него не хватает того качества, которое так щедро раздается скупой природой направо и налево, недостает самодовольства. Нет возможности, нет и права обзавестись им. Если и нам-то достаточно пройти по улице, чтобы наткнуться на десяток непримиримых противоречий, то сколько видно их в жизни проникновенному взгляду гения. Счастливое легкомыслие спасает нас от излишних мук, иллюзия всегда наготове, чтобы вызвать улыбку, надежду, приток бодрости. Но за привилегию гения приходится, повторяю, расплачиваться, и притом страшно дорогой ценой.

“Мир погряз в греховности”. Это так же очевидно было для Кромвеля, как за сто лет до него было очевидно для Лютера и Кальвина. Обидное легкомыслие царит в жизни большинства людей, и, что гораздо хуже этого легкомыслия, там царят ложь и лицемерие. А между тем должна же наступить смерть, должен наступить тот роковой час, когда человек будет призван отдать отчет во всем сделанном им здесь, на земле. “На что же опереться в жизни, чтобы спокойно, без страха видеть, с какой головокружительной быстротой уходит день за днем и приближается могила?”

Нет даже ничего удивительного, если в наиболее тяжелые минуты Кромвель доходил до полноты отрицания. На все вопросы, задаваемые им бытию, он, быть может, слышал роковое холодное молчание. “Это бывает часто с религиозными натурами, пока не нашли они наконец безусловного основания для своей мысли и деятельности – безусловной веры в Бога”.

К тому же полнота отрицания – национальная “норманнская” черта. Я позволю себе привести небольшую скандинавскую сагу. Бог весть, в каком столетии появилась она. С небольшими изменениями ее основная идея приложима и к XVII веку. Она поможет нам глубже заглянуть в муки религиозно настроенной, ищущей веры души.

В этой саге речь идет о путешествии бога Тора. После долгих скитаний и странствований бог Тор, могущественнейший из богов, вооруженный своим молотом, легко обращающим в прах и в пыль гранитные утесы, приходит в страну, населенную великанами. Те ласково встречают его, подсмеиваясь, впрочем, над малым ростом божества, и наконец предлагают ему показать свою силу. Тор соглашается, обиженный недоверчивостью и насмешками. Для начала ему дают рог и хотят, чтобы он в три глотка опростал его. Тор напрягается, каждый раз вытягивает он из рога столько, что “большая река после такого глотка раскрыла бы свое ложе”. Но странно – рог остается полным по-прежнему, и жидкость видна у самых краев его. Тор разгневан, гнев удесятеряет его силы, и он, еще более могущественный, готовый победить или умереть, выступает на новое состязание. Он должен на этот раз побороть какую-то старую плюгавую старушонку, столетнюю бабушку царя великанов. Тор охватывает ее своими железными руками, он хочет приподнять ее, чтобы потом с размаху бросить оземь. Но старушка не поддается. Ноги Тора по колена уходят в землю, а старушонка по-прежнему стоит неподвижная и подсмеивается над богом своим беззубым ртом. Тора обманули. Конец его рога был соединен с морем; он боролся не с бабушкой царя великанов, а с самой смертью, и смерть победила его. Он в гневе на этот обман приподнимает свой молот, чтобы отомстить, но вдруг вся страна со всеми людьми, замками и городами исчезает перед ним. Призраки – вот что окружало его, и призраки обманули его, сильнейшего из богов.

Так и человек.

Он, как Тор, совершает геройские подвиги, изумляющие других; во имя самолюбия или любви к истине, или во имя долга наконец, он с безумной расточительностью и вместе с тем с безумной смелостью тратит свои силы. Но можно ли выпить море? Можно ли побе-

дить старушонку смерть? И против нее даже готов восстать человек, подгоняемый иллюзиями и полный самообольщения, но приходит мгновение, и он убеждается, что вокруг были призраки, “никуда” пошли его силы, “ни к чему” привели его стремления. Как Тор, приподнимает он свой молот, чтобы отомстить за эту ложь, – и это обман. Отомстить кому? Все исчезает из его глаз: ведь все было призраком, вся жизнь была им.

Такое душевное настроение является необходимой ступенью религиозной жизни *ищущего* человека. Ведь вот если бы Кромвель взял и принял сразу готовые формулы, он избежал бы, конечно, тоски и томления. Но ни дух времени, ни его личная натура не позволяли уложить свою веру в готовые рамки. Величие вообще избегает их, особенно в тех случаях, когда затронуты самые дорогие в человеческой жизни интересы.

Между тем традиции семьи, воспоминания детства, общее направление свободолобной мысли толкали Кромвеля в лагерь кальвинистов и пуритан. Первый важный этап, пройденный им, был, конечно, тот же самый, с которого началась деятельность Лютера. Надо было найти основания для религиозной мысли. Принцип Реформации подсказал ему: краеугольным камнем стали Священное писание и человеческое “я”.

Уже по тому, что все речи и письма Кромвеля испещрены цитатами из священных книг, можно заключить, что он долго и внимательно читал их. Быть может, как Лютер и Нокс, просиживал он за ними бессонные ночи, обливаясь слезами. Он верил лишь в то, что здесь истина, и что *собственный его* разум поможет ему понять ее.

Постепенно он склонялся к кальвинизму. Но тут на первых же порах его ожидала страшная вещь.

Как у человека XVII столетия, к тому же кальвиниста, сомнения Кромвеля имели специальную окраску. Учение Кальвина выросло из споров о благодати. Он довел эту догму до ее последних логических выводов. Он прямо разделил человечество на две части – избранных и осужденных. Одним обещал он блаженство рая, другим – вечные муки. В гордости своей мысли Кальвин отнял у Божества милосердие, он оставил ему одно – справедливость вечную, безусловную. Эта справедливость предопределяет, кто из людей будет спасен, кто должен погибнуть. Предопределение неизменно. Осужденному не идут впровк ни добрые дела, ни святое причастие; избранному не вредят ни грехи, ни преступления. Только избранный спасен будет. Кто же из искренних кальвинистов не мучился над вопросом, к какой категории принадлежит он? Страшный меч предопределения висел над ним, великая надежда на милосердие Божества была отнята у него жестоким учителем. В этой части учения Кальвина все страшно, все таинственно, все дышит холодом смерти и вечного осуждения.

И Кромвель мучился.

Обстоятельства, в которых находилась его родина, совсем не были таковы, чтобы придать ему бодрости. Томительно долго длилось малодушное правление Иакова Первого. Англия терпела унижение за унижением, и, еще недавно полная славы и силы в правление Елизаветы, она опустилась в разряд ничтожных европейских держав, на которые никто не обращал внимания. Это вполне заслуженное политикой Иакова презрение оскорбляло каждого англичанина. “Внутри” было ничуть не лучше, если не хуже. “Внутри” господствовал капризный и ребяческий деспотизм Букингема и его креатур и “в продолжение уже многих лет никто не слышал о справедливом приговоре судов”. Самый тон жизни сравнительно с тем, что было при Елизавете, заметно понизился, и “Иаков как будто поделился своими недостатками с подданными, ничуть не сделавшись от этого добродетельнее”. Этими недостатками были трусливое малодушие, праздная жизнь, в заботах только о развлечениях, постоянная готовность ко лжи и лицемерию. Церковные дела особенно тревожили верующих.

Всякий знает, конечно, как появилась на свет Божий англиканская церковь. Она представляла из себя самый обидный компромисс между католицизмом и Реформацией. Отказавшись от римского папы, создав себе другого папу в лице короля, признав его главою в

делах духовных, она отдавала на его решение все свои колебания. Корона от такого положения дел выиграла очень много. Выигрыш этот, однако, сопровождался значительными неудобствами. Компромисса вообще держаться очень трудно, особенно в тех случаях, когда из него хотят устроить что-нибудь постоянное и вечное. По самой сущности своей компромисс – соглашение временное, но встать на такую точку зрения англиканская церковь не хотела ни за что. По примеру католицизма она рассматривала себя как учреждение божественное, существующее по воле Промысла. Это было по меньшей мере дерзко, так как у всех на виду она появилась по воле не Промысла, а Генриха VIII, короля английского, смертного, во-первых, и ни в коем разе не лучшего из смертных, во-вторых. Надо было обладать особенной тонкостью понимания, чтобы сообразить, каким образом те же самые аргументы, которые отрицали абсолютную власть папы над церковью, могли служить защитой такой же абсолютной власти, но уже не папы, а английского короля. У честных и искренних людей такой тонкости понимания не было, и уже с самого начала соглашение, устроенное Кранмером, рассматривалось огромным числом протестантов как затея служить двум господам, как попытка соединить поклонение Господу с поклонением Ваалу. Люди же крайних религиозных убеждений совсем не были расположены подчиняться в делах веры какому бы то ни было человеческому интересу. «Они незадолго перед тем, полагаясь на собственное истолкование священных книг, восстали против католической церкви, сильной незапамятною древностью и общим согласием. Необыкновенным напряжением умственной энергии они свергли иго этого пышного и державного суеверия, и нелепо было ожидать, чтобы они непосредственно после такого освобождения терпеливо подчинялись новой духовной тирании. Давно привыкшие при возношении священником даров падать ниц, как бы перед присушим⁴ Богом, они научились теперь рассматривать мессу как языческий обряд. Давно привыкшие смотреть на папу как на обладателя ключей земли и неба, они научились считать его зверем, антихристом, человеком греха. Нечего было надеяться, чтобы они непосредственно перенесли на власть-выскачку то благоговение, которое перестали оказывать Ватикану; чтобы они подчинили свое частное суждение авторитету англиканской церкви, основанной на одном лишь частном суждении; чтобы они побоялись отщепиться от наставников, которые сами отщепились от папы. Легко понять негодование, какое должны были почувствовать сильные и пытливые умы, гордившиеся новоприобретенной свободой, когда учреждение, которое многими годами было моложе их самих, учреждение, которое на их глазах постепенно получало свою форму от страстей и интересов двора, начало подражать надменной манере Рима».

Так говорит Маколей о настроении пуритан. Надо все же заметить, что и англиканская церковь сама не удержалась на первоначально занятой позиции. Вражда ее к римско-католическому учению и благочинию постепенно значительно смягчилась, хотя в этой-то вражде и заключался весь ее жизненный заряд, все, что давало ей право на существование. Являлась даже надежда на возможность полного примирения, хотя бы и не в ближайшем будущем.

Все это приводило в уныние и негодование людей верующих, кальвинистов, пуритан и членов крайних религиозных сект. Даже намеки на восстановление епископской власти в прежнем ее объеме и значении были ненавистны им, а при Карле I (1623 – 1649 годы) дело перестало ограничиваться намеками, и правительство, в лице архиепископа Лоуда, очень энергично стало готовиться к примирению с Римом. Но это примирение было иллюзией; чтобы осуществить его, надо было вычеркнуть три предыдущих столетия из истории Англии и каким-нибудь чудом или фокусом вырвать постепенно накапливавшуюся ненависть к Ватикану, упорно и настойчиво переходившую из поколения в поколение. Правительство искоренило ее жестоко. Тюремные заключения, варварские казни, громадные денежные штрафы –

⁴ присутствующим, наличным (Словарь В. Даля)

все было пущено в ход ради достижения поставленной цели, и все это привело к совершенно неожиданным для Карла I и его министров результатам. Преследование, которому подверглись отщепенцы, было довольно жестоко, чтобы раздражить, но не довольно жестоко, чтобы уничтожить их. Оно не укротило их до покорности, но разъярило до ненависти и упорства. Рядом с лагерем недовольных образовался постепенно лагерь непримиримых, которому история назначила первую роль в наступившей бурной эпохе.

Кромвель примкнул к нему. Но это случилось не сейчас, не сразу. Несколько страниц назад мы оставили его погруженным в тяжелые недоумения, в душевный маразм, отнимавший у него всякую энергию. Как выбрался он из этого тяжелого положения? И здесь опять мы можем лишь догадываться, хотя и вообще процесс возрождения и обновления души человеческой настолько таинствен и стихийен, что едва ли есть слова для его выражения.

Прошли годы искания, и, к счастью, вместе с ними исчезли тоска и томление. С каким ужасом и негодованием смотрел потом Кромвель на этот бездеятельный и мрачный период своей жизни, представлявшийся ему блужданием по темной пещере. “Но Бог не оставил меня, — пишет он в 1636 году, — Бог снизошел в сердце мое, и я буду прославлять Его за это, буду прославлять Его, говоря, что Он сделал для моего сердца. В скудной и каменистой пустыне, где нет воды, Он дал мне росу”. Стоит остановиться на одной фразе: “прославлять Бога моего”, прославлять правдой жизни, откровенным исповедованием Его перед лицом неверующих и перед лицом других, худших еще, — лжеверующих... “Мой Бог”... Это не католический символ Божества и не англиканский символ Его; это откровенное подчинение человеческой личности Высшему началу жизни, Высшей справедливости, в служении которой должна исчезнуть и поглотиться личная жизнь. Кромвель нашел спасение в вере, религии, но эта его вера чужда какой бы то ни было догмы. Он знал лишь своего Бога и, прославляя Его, отдавал Ему свою жизнь.

С этой поры две великие идеи стали руководить Кромвелем в его деятельности. Идея самоотречения — во-первых; идея вечной справедливости, которая должна и притом необходимо должна восторжествовать здесь, на земле, — во-вторых. “И он был героем, — говорит Карлейль. — Сердцем своим чуял он ту истину, которая всегда и везде является основанием героизма и правды. Он говорил: Всемогущая справедливость управляет миром. Хорошо сражаться на стороне Бога и Его правды; слишком нехорошо — на стороне дьявола и его лжи”.

Из своего душевного маразма Кромвель вышел бойцом. Перед нами уже не скромный деревенский джентльмен, просто одетый, с угловатыми манерами, резкой речью, обыкновенно молчаливый и, очевидно, не привыкший вращаться в приличном обществе; перед нами с этой минуты сильный общественный деятель, который прекрасно знает, чего он хочет и куда стремится. У Кромвеля был свой идеал церковного устройства; слишком ясно в то же время он сознавал недостатки современной ему политической и общественной жизни. Одушевленный своей верой, фанатически даже преданный ей, готовый ежеминутно жертвовать своей жизнью ради торжества излюбленных идей, он ждал лишь минуты, когда обстоятельства позволят ему высказаться.

Что это за идеалы и что это за излюбленные герои — мы увидим мало-помалу.

* * *

В середине 1625 года умер король Иаков I, и его место на престоле Англии и Шотландии занял Карл I.

В монархически управляемых государствах вступление на престол нового монарха знаменует обыкновенно начало новой эры. “Эры”, впрочем, может и не быть; во всяком случае, она ожидается, и ни на кого в 1625 году подданные не возлагали так много надежд, как на того государя, которого они еще не знали.

“Несправедливо было бы отрицать, – говорит Маколей, – что Карл имел некоторые качества хорошего, даже великого государя. Он писал и говорил не так, как его отец, не с точностью профессора, но так, как говорят и пишут умные и прекрасно воспитанные джентльмены. Его вкус в литературе и в искусстве был превосходен; его манера, не будучи привлекательной, была преисполнена достоинства; домашняя его жизнь была безукоризненна. *Вероломство* было главной причиной его злополучий и остается главным пятном на его памяти. Он был поистине одержим неизлечимой склонностью к темным и кривым путям. Может показаться странным, что его совесть, которая в маловажных случаях была достаточно чувствительна, никогда не упрекала его в этом великом пороке. Но есть основание думать, что он был коварен не только по натуре и привычке, но и по принципу. Он, кажется, научился от тех богословов, которых наиболее уважал, тому, что между ним и его подданными не могло быть ничего вроде взаимного договора; что он не мог, если бы даже и хотел, отрешиться от своей деспотической власти; что во всяком его обещании было мысленное ограничение насчет того, что такое обещание могло быть нарушено в случае необходимости. Судьей этой необходимости Карл признавал лишь самого себя”.

Как видно из приведенной характеристики Маколей, ни один серьезный историк не думает отрицать достоинств и дарований Карла. Его даже очень хвалят за чистоту семейной жизни, за целомудрие, за литературный вкус. К сожалению надо заметить, что время было смутное и качеств хорошего джентльмена не доставало, чтобы быть хорошим королем. Стоит перечислить вкратце вопросы, решение которых история совсем произвольно и слишком даже жестокосердно предоставила Карлу, королю Англии и Шотландии, чтобы понять всю трудность тогдашнего положения.

1) Вопрос церковный – самый трудный и самый неприятный. На сцене действовали, боролись, ненавидели друг друга следующие партии: паписты, епископалы, староангликане, пресвитериане, пуритане, броунисты-индепенденты, впоследствии – уравниатели. Из первых трех групп каждая тянула короля в свою сторону. Пресвитериане делали частые попытки прийти с ним к какому-нибудь соглашению. Остальные секты сразу заняли воинствующее положение. Это были непримиримые: одни – по принципу, как индепенденты, другие – по необходимости, то есть доведенные до этого жестокостями и преследованиями. Для первых четырех групп центральным вопросом был вопрос о епископстве. Паписты признавали одного епископа – папу; епископалы смотрели на прелатов как на священнослужителей, исполненных особой божественной благодати; староангликане глядели на епископство как на полезное, отнюдь не божественное учреждение. Пресвитериане готовы были примириться с чем угодно, лишь бы не было епископов. Остальные приходили в бешенство при одном слове “епископ”. Сам Карл, как и его отец, был ревностным епископалом. Он был сверх того, в противоположность своему отцу, ревностным христианином и, не будучи папистом, предпочитал паписта пуританину. Несчастливая звезда Стюартов, очевидно, руководила им в выборе своих симпатий.

2) В политике партий было не меньше. Расположим их опять по убывающим степеням преданности престолу и монархии. Мы их насчитываем пять: *абсолютисты*, как сам Карл, как Страффорд и еще несколько лиц, полагали, что надо найти нерушимое основание для деспотической королевской власти; *умеренные роялисты*, впоследствии кавалеры, лозунгом которых было: король и Великая хартия вольностей; *пресвитерианские политики*, все время страдавшие по либеральной конституции; *индепенденты*, не признававшие никакой королевской власти, попросту республиканцы; *уравниатели*, или анархисты. Но, кроме вопроса

о королевской власти, ее размерах, ее границах, ее правах и прерогативах, был еще другой, общий вопрос из области внутренней политики. В 1629 году английский народ с удивлением узнал, что его представители, заседавшие в нижней палате, втрое богаче, чем пэры королевства. Третье сословие (буржуазия), очевидно, выросло, и притом так сильно, что оно стремилось к фактическому могуществу и хотело выразить его в юридических нормах. До сей поры оно играло роль меньшего сына. Старшими были пэры королевства (палата лордов) и духовенство. Третье сословие требовало первенства. Но уступить ему значило поступиться своими правами и привилегиями. Добровольно согласиться на это было трудно. Отсюда борьба, и так как нижняя палата разрешала налоги и снабжала правительство деньгами, то ясно, стоя на какой позиции нижняя палата эту борьбу начала. Король требовал денег; палата требовала прав. Король отказывал в правах, палата – в деньгах.

3) Вопросы внешней политики в нашу программу не входят. Поэтому мы можем ограничиться лишь указанием на то, что и там ничего отрадного не было. Народ громко выражал негодование, что Англия потеряла весь свой престиж и все свое значение в Европе. Надо было их поднять. Только, к несчастью, не Карлу суждено было сделать это.

Если читатель вдумается в приведенные трудности и примет еще во внимание, что в XVII столетии люди были несколько экспансивнее сравнительно с настоящим поколением; что религиозная идея и даже религиозное одушевление, проникавшие собою жизнь большинства, давали верующим несокрушимую силу; что малодушие, вызванное спекуляциями (увы – не философскими), конкуренцией, ожесточенной и, к сожалению, решительно ничем, кроме животолубия, не отягощенной борьбой за существование, было далеко не так распространено, как в наше время; если, говорю я, читатель все это примет во внимание, то он согласится, что положение Карла Стюарта было не из лучших, во всяком случае – не из блестящих. А тут еще “пристрастие к вероломству”, вероломству, так сказать, принципиальному. Всякий раз, как ему хотелось отделаться от приставаний нижней палаты и получить с нее деньги, он говорил: “*Soit fait comme il est desire*”, то есть – да будет сделано, как вам это желательно, в уме же своем прибавлял: “*пока мне это угодно*”. Это *пока* обошлось ему чересчур дорого.

“Карл никогда не дорожил друзьями, никогда не уважал своих врагов”. Карл верил, что он защищен от всего – клеветы, неудачи, суда, несчастья. Поэтому-то он никогда не заботился о приобретении себе сторонников. Зато Карл не упустил ничего, чтобы возбудить недоверие даже в людях преданных.

Самое характерное – это, конечно, отношение Карла к парламенту. Пусть читатель сам судит о том по краткому изложению, сделанному Маколеем. “Почти с первого же дня по вступлении на престол Карла началась та азартная игра, в которой были поставлены на карту судьбы английского народа. Парламент давал ему очень скудное количество субсидий. Он увидел необходимость управлять или *вместе* с палатой общин, или же – вопреки всем законам. Его решение не замедлило последовать. Он распустил свой первый парламент и собрал налоги собственной властью. Он созвал второй парламент, но нашел его несговорчивее первого. Тогда он снова прибегнул к роспуску, собрав новые подати без всякого подobia законного права, и заключил предводителей оппозиции в тюрьму. В то же самое время новое оскорбление, которое, вследствие особенных чувств и привычек английской нации, было невыносимо тягостным и которое всем прозорливым людям показалось страшным предзнаменованием, возбудило общее неудовольствие и смятение. Роты солдат были размещены по квартирам граждан, и военный закон заменил в некоторых местах древнюю юрисдикцию государства. Король созвал третий парламент (1629 год) и скоро заметил, что оппозиция была сильнее и ожесточеннее, чем когда-либо. Тогда он решился переменить образ действий. Вместо того, чтобы оказывать требованиям палаты общин непреклонное сопротивление, он, после долгих прений и многих уклонений, согласился на мировую сделку,

которая – останься он ей верен – отвратила бы целый ряд бедствий. Парламент назначил щедрые субсидии, а король утвердил знаменитый закон, известный под именем “Прошения о правах”. Этот закон представляет собою вторую Великую хартию английских правительственных форм. Утверждая его, Карл обязался никогда вперед не взимать податей без согласия палат, никогда вперед не заключать никого в тюрьму без соблюдения законного порядка и никогда вперед не подчинять свой народ юрисдикции военных судов. День, когда королевская санкция после многих отсрочек торжественно узаконила этот государственный акт, был днем радости и надежд. На ликования парламента откликнулись голоса столицы и нации; но через три недели обнаружилось, что Карл вовсе не имел намерения соблюдать заключенное им условие. Обнаружилось и еще нечто гораздо худшее: королевский типографщик Нортон сознался, что на другой день по закрытии парламента он получил приказание *изменить текст* билля, уничтожить все экземпляры, заключающие в себе настоящий королевский ответ, – тот ответ, которым хвалился король, говоря: “Я сделал все, что от меня зависит; отныне меня не в чем более упрекать”. Между тем субсидии, назначенные представителями нации, были собраны. Обещания, данные королем, были нарушены. Последовала жестокая борьба. Парламент был распущен со всеми знаками королевского неудовольствия. Некоторые из именитейших членов были заключены в тюрьму, и один из них, сэр Элиот, промучившись несколько лет, умер в заточении. Карл, однако, не мог решиться взимать собственною своею властью подати, достаточные для ведения войны. Поэтому он поспешил заключить мир со своими соседями и с тех пор устремил все свое внимание на британские государственные дела. Тогда началась новая эра. Многие английские короли порою совершали противоконституционные действия, но ни один не пытался систематически сделаться деспотом и обратить парламент в ничто. Такова, однако, была цель, которую Карл определенно себе задал. С марта 1629 года по апрель 1640 года палаты не созывались. Никогда в истории Англии не было одиннадцатилетнего промежутка между парламентом и парламентом. Только однажды был промежуток, ровно вполовину короче. Одного этого факта достаточно для опровержения тех, кто утверждает, что Карл шел по следам Плантагенетов и Тюдоров”.

Свидетельством самых ревностных приверженцев короля доказано, что в этот период его царствования параграфы “Прошения о правах” (Petition of Rights) нарушались им не случайно, а систематически и постоянно, что огромная доля государственного дохода взималась без всякого законного основания и что лица, ненавидимые правительству, томились целые годы в тюрьме, ни разу не будучи вызываемы в суд для защиты. В Англии господствовал капризный и раздражавший всех своей дерзкой самоуверенностью деспотизм королевского любимца, герцога Букингемского. Наконец “милорд” был убит. Но от этого никому не стало легче, так как король, сделавшись с этого времени сам своим первым министром, шел той же дорогой. В Ирландии хозяйничал Вентворт, пытаясь во что бы то ни стало создать постоянное войско для поддержания произвола. Церковное управление находилось преимущественно в руках Вильяма Лоуда, архиепископа Кентерберийского. Несомненно, что из всех прелатов англиканской церкви Лоуд наиболее приблизился к католицизму. Его страсть к церемониям, его уважение к праздникам, повечериям и священным советам, его дурно скрытое нерасположение к бракам духовных лиц, горячая и не совсем бескорыстная ревность, с какою он поддерживал притязания духовенства на уважение мирян, сделали бы его предметом отвращения для кальвинистов, если бы даже он употреблял только законные и благородные меры для достижения своих целей. Но, упрямый и подозрительный, он всегда действовал через шпионов. Каждый уголок государства подвергался назойливому и мелочному надзору; каждая небольшая сходка сепаратистов выслеживалась и разгонялась. Даже религиозная жизнь частных семейств не могла укрыться от бдительности сыщиков Лоуда. Строгость его наводила такой страх, что смертельная ненависть к церкви вообще скрывалась под личиною согласия с господствующею религией. Накануне роковых служб епископы

различных епархий доносили Лоуду, что в их ведомствах нельзя было найти *ни одного диссентера*⁵ — отступника.

⁵ распространенное в XVI – XVII веках в Англии название лиц, не согласных с вероучением и культом англиканской церкви

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.